

ЧУДО С КАРЦЕВЫМ

Карцев — «кровь с молоком». Кудрявый блондин с лицом херувима и ладонями размером с большую саперную лопату. Росту в нем почти два метра, ноги — сорок седьмой полный...

Обутые в то, что еще пару лет назад можно было принять за кроссовки, ноги эти болтались теперь под потолком Никольской церкви, той, «пряничной», в стиле «Неорюс», что стоит на улице Труда, аккуратно напротив конечной второго трамвая.

Свесивши их, Карцев сидел на самом краю кое-как сколоченных лесов, голова к голове с библейским осликом из накануне отреставрированной им же фрески «Бегство Святого семейства в Египет».

В таком соседстве особенно хорошо заметно было, откуда у ослика с недавних пор появились арийские голубые глаза с таким бессмысленно-поэтическим выражением.

Как художник, Карцев исповедовал ортодоксальный флоберовский принцип: «Мадам Бовари — это я». В каждой своей картине он непременно запечатлевал свой собственный образ, находя для этого порой самые затейливые способы. У него это называлось «Плевок в вечность».

Здесь, однако, даже ему пришлось нелегко. Канонический сюжет церковной росписи значительно суживал поле его творческих исканий. Рука «мастера» не посмела наделить своими чертами ни Святого Иосифа, ни, упаси Господь, Деву Марию с Младенцем на руках.

Изо всех исторических персонажей Карцев решил посягнуть лишь на постепенно бредущее на поводу выючное животное. Его и без того одухотворенную морду после реставрации украсили красивые голубые глаза художника, весьма, кстати, удачно сочетавшиеся с глубокой лазурью неба над пересекаемой Святым семейством Синайской пустыней.

Нельзя сказать, что подобная творческая находка привела в восторг Лерыча, второго художника, собственно, и пригласившего Карцева попробовать свои силы в церковной живописи. Но исправлять что-либо было уже поздно. С минуты на минуту в храме ждали Владыку.

Пока же, чтобы унять неизбежное перед приемкой волнение, Карцев пытался втянуть Лерыча, до сих пор еще горбатившегося на соседних лесах, в традиционную для них бессмысленно-философскую дискуссию.

— Что есть воля? — вопрошал он, сосредоточенно глядя вниз, где у подножия лесов староста Филиппов подсчитывал с кассиршей полуденную выручку церковной лавки.

На круглом темном столе была рассыпана огромная, как в восточной сказке, пирамида монет. Филиппов быстро раскладывал их, в зависимости от достоинства, в одинаковые холщовые мешочки. Кассирша заполняла ведомость.

— Свободная воля, — повторил Карцев. — Что это? Равнодействующая наших желаний или устойчивое, изолированное от всего постороннего представление о них же, уже сбывшихся?

— Спросишь у Владыки, — буркнул, не разгибаясь, Лерыч.

Он торопился записать швы и исправить возникшие кое-где смещения на своей работе. Его потолочная роспись примыкала к правой части алтарной стены и называлась «Собор всех Святых и поборников благочестия, земле Сибирской просиявших». Картина состояла из шести одинаковых частей, написанных им в мастерской на огромных, два на три метра подрамниках. Лишь накануне они с Карцевым наклеили их на потолок.

— И спрошу, — флегматично соглашался Карцев, пытаясь сверху, хотя бы приблизительно, определить количество денег на столе. — Если работу примет.

— Не если, а когда! — Лерыч, затративший на свой труд три с половиной месяца, нервничал.

В целом, он был уверен, все удалось. Владыка уже видел несколько фрагментов, — свернутые в трубу три из шести холстов возили к нему, на Успенского, 24. Да и третьего дня, когда, прежде чем поднять холсты на леса, он разложил их на каменном полу в пустом храме, работу видел и настоятель, и четверо пожилых, похожих друг на друга, как бородатые красноносые гномы, художников, приглашенных Владыкой из Киевской лавры специально для росписи алтаря.

Карцев, в силу врожденного скепсиса, не раз проходил по их, как он выражался, «засахаренно-леденцовой манере», но они, справедливости ради, работу Лерыча восприняли очень серьезно.

Нет, роспись, несомненно, удалась. Но, как это обычно бывает, не хватило каких-нибудь нескольких часов.

Карцев же свою часть потолка лишь слегка подновил, проведя на лесах чуть более двух недель. Изначально договор был только на Лерыча и «Бегство в Египет» он рассматривал для себя как некий бонус после изнурительной работы над «Собором...». Однако работа сильно затянулась, близилась Пасха, и храм должно было освободить от лесов. И тогда Лерыч вспомнил о Карцеве...

— Если первое, — продолжал бубнить Карцев, раскачивая над пропастью огромными ногами, — лежать бы мне до сих пор дома на диване с подшивкой «Нойе Вербунг». Если второе, и мои представления имели бы способность материализоваться, красил бы я теперь ногти на ногах натуральных блондинок.

— Ногти?

Лерыч с трудом повернул затекшую шею.

— На ногах. Маленький педикюрный салон где-нибудь в тихом районе Стокгольма. Я в белом халате прямо на голое, только после солярия, тело, на низенькой, почти детской скамеечке. Кругом разноцветные баночки с кремами, ванночки. Пахучие лаки, радужные, как палитра ранних Барбизонцев, нежно-сиреневые, ярко-красные, черно-фиолетовые, с дымчатыми в блестках разводами. Сверкающий инструмент. Теплое, как в будуаре, розовое освещение, скрытое за обитыми шелком стенами, стерильная чистота.

В моей ладони узкая женская ступня, я узнаю ее, это не первая наша встреча, мне даже не надо поднимать глаз, да я и не смею, боюсь встретиться с ней взглядом. Я всего лишь педикюрный мастер, почти слуга, раб. Это унижительно и сладко, и я по ноге, всего лишь по изящной форме пальчиков, могу придумать себе лицо их обладательницы, ее историю и отвести себе место в ней. Я все время хочу по-

смотреть вверх, а в самом низу, у ног моей повелительницы, но я весь стремлюсь вверх. Нога скоро согревается в моей ладони, становится мягкой, доверчиво расслабленной...

— У немок средний размер сорок второй, — заметил Лерыч.

— Это Стокгольм, скотина, Швеция. Хотя какая тебе разница, у тебя одни рефлексy.

Вздыхнув, Карцев прикрыл глаза, опасно склонился над пропастью.

— Как мне надоело, как я устал быть большим, смотреть на всех сверху. Когда ты большой, от тебя ждут многого. Особенно женщины. А когда они понимают, они ведь всегда слишком быстро все понимают, они необходимо разочаровываются. Я устал от их разочарований. Я снова хочу быть маленьким, хотя бы притворяться, играть в маленького. Я больше не хочу смотреть на всех сверху вниз, не хочу, чтобы женщины со мной задирали голову, чего-то от меня ждали. Жизнь меня все время опускает, и это судьба. Я тут понял: все дело в высоте, в росте! Лучше я сам сяду на маленький стульчик, сам стану маленьким.

— Кто внизу, тот всегда вверх смотрит, там, значит, и сердце его будет, сердце ведь всегда вслед за взглядом тянется, как за проводником. Тому, стало быть, и расти, вслед за сердцем подниматься, а кто уж и так на верху колеса, тому только вниз...

— «Если сердцем наверху — сокрушен будешь. Унижен сам — возвысишься». Тут главное из корзины не выпасть, не разбиться раньше времени. И так вечно: то вверх, то вниз.

Вот я и хочу внизу быть, чтобы сразу и вверх начать подниматься. Сяду я лучше сам на стульчик свой крошечный — я его теперь очень ясно вижу: розовый, крытый лаком, жесткий, с овальной без прорези спинкой — и стану на все снизу смотреть, вверх метить.

— Александр, — спросил Лерыч, не отрываясь от работы, — разве я когда-нибудь называл вас извращенцем?

— Заткнись, — в раздумье попросил Карцев. — Мечтать и метить, — похоже, правда? Куда как лучше высоко метить, чем с высоты смотреть, знать, что все равно падать придется. Нет, маленьким быть хорошо, маленький сделал чуть — и молодец! Вот, на тебе сладенького...

Тяжело мне тут на лесах, страшненько, хоть, сам знаешь, я с высотой накоротке. Давит тут на меня очень. Над головой потолок со святыми, глаз вверх не поднять. Остается одно — вниз, да и тянет все время! Чувствую: упаду я скоро, разобьюсь. Но, может, так оно и лучше? В церкви, в страстную неделю, с лесов. Может, чтобы подняться, и надо вначале упасть?

А воля? На что же мне свободная воля, если я не могу ее исполнить? Настоящая воля — это вера.

— Эх тебя растащило! — Лерыч отложил кисть, склонив голову, осмотрел только что выровненные края четвертого и пятого фрагментов, присел рядом с Карцевым, но не так близко к краю.

Перил на лесах не было, щели между досками в настиле были ровно в ширину самих досок. Плотник, работавший в храме на полставки, и делал все ровно вполювину.

— Ведь в чем цель человека? — не унимался Карцев. — Исключительно в счастье, в наслаждении. А высшая его степень — блаженство. И сказано ведь: «Блажен, кто верует». Но я вот верую, а все не блажен. Может, я как-то не так верую?

Здесь, на лесах, когда я запросто могу дотронуться до ослика, заглянуть близко в лик Спасителя, я очень хочу верить, потому, что очень хочу блаженства, которое одно только и есть мотив всякой деятельности, даже подвига. Скажешь, какое в

подвиге блаженство? А вот, у всего есть обратная сторона. Если герой сам жизнь свою, если придется, не отдаст, он себя потом со стыда съест, а мертвые, как известно, сраму не имеют.

Избавление от страдания, даже ценой жизни, тоже блаженство. Но это, кому дано. А я не герой, мне бы подоступней чего... Я думаю, все дело в том, как именно верить. Есть вера от сердца, но это точно не ко мне. У меня что вокруг, то и на сердце. Только дух неколебим, спокоен, как вода в глубине, не зависит от внешнего. Но что-то он у меня глубоко очень, не донырну никак...

Еще есть вера от ума, но от него одни сомнения. Какая уж тут вера? Ум вечно соблазняется, он, будто нарочно так устроен, хочет знать, как оно там на самом деле. Но мои чувства и есть для него предел этого «на самом деле».

Другого «дела» для ума нет и взяться ему неоткуда. Умом я только и могу дойти до того, что нет никаких доказательств, что Его нет и для меня гораздо лучше думать, что Он есть. Познать Бога умом нельзя. Ум — это суша, а чтобы научиться плавать, нужна вода. Чтобы познать Его, нужно «переключить каналы», начать жить в духе, а не в уме. А для этого нужно чудо, чтобы умом не понять было, но чтобы сразу чувства — ум...

— Саша, — осторожно сказал Лерыч, — может, вниз спустимся? Там и поговорим. Да и Владыка вот-вот будет...

Они были знакомы с детства. Выросли в соседних дворах. Карцев учился двумя классами старше, и друзьями по этой причине они быть никак не могли, но всегда приятельствовали. Встретились они снова лет через семь, в один год поступив на художественно-графический факультет пединститута.

За спиной Карцева к тому времени были уже два курса Ленинградского кораблестроительного института и оборвавшаяся карьера талантливого легкоатлета. Неудачно сросшийся после нелепого перелома правый локтевой сустав преградил ему путь к олимпийскому пьедесталу, став одновременно единственным его физическим недостатком.

Что касается ума, наличие которого совсем необязательно при таких совершенствах, то здесь мнения людей, даже близко знавших Карцева, значительно разнились.

Едва неполучная травма остудила амбиции юного дискобола, он решил взять свое хотя бы умом. Окончив восемьдесят восьмую математическую с серебряной медалью, Карцев уехал в Ленинград и сразу поступил в престижный по тем временам институт.

Впрочем, путь разума оказался для него тернист и тоже не слишком долог. Если уж быть до конца точным, длиною всего в три с половиной семестра. Из кораблестроительного института студент Карцев был отчислен по причине проявившихся у него (по его собственному убеждению, исключительно под влиянием вредных для его тонкой душевной организации белых ночей) многообразных пагубных пристрастий.

И в 1977 году от Р.Х. несостоявшийся конструктор океанских лайнеров вернулся в родной Омск. Перед ним лежал третий, последний путь.

Искусство! Всегда манившее его изобразительное искусство, необходимо причисляемое им ко вторичным половым признакам, влекло его теперь безраздельно.

С молодых ногтей Карцев питал особую склонность к такому его жанру, как пластика малых форм. Проще говоря, в его чутких, несмотря на размеры, пальцах обычный кусок глины в считанные минуты превращался в парочку экспрессивно совокупающихся или пожирающих друг друга чрезвычайно выразительных сюрреалистических уродцев.

Не имея специальной подготовки, он легко поступил на «худграф» и, не особо напрягаясь, доучился до четвертого курса. И вдруг понял, это произошло с ним после единственного, данного им на педпрактике урока труда в 66-й школе, что это и была его лебединая песня. Больше он порога школы не переступит!

К решению этой непростой во времена распределения молодых специалистов проблемы Карцев подошел, как всегда, системно. И уже к пятому курсу в его военный билет была вписана ст. 4, что для человека посвященного означало: отечество безвозмездно и навсегда, то есть безо всяких перекомиссий в будущем, запрещало ему исполнять священный долг по защите своих рубежей по причине неизлечимого общего психического заболевания.

Разумеется, в услугах такого учителя рисования, черчения и труда (а именно это должно было значиться в его дипломе) оно не нуждалось также.

В качестве бонуса к диагнозу «шизоидная психопатия» Карцев получил удостоверение инвалида третьей группы с пенсией в пятьдесят четыре рубля, что примерно соответствовало повышенной стипендии и сильно скрашивало ему оставшиеся до диплома месяцы.

Тут уместно будет сделать одно небольшое замечание в защиту так легко якобы поверившей ему врачебной комиссии. Попытка после окончания вуза повторить его подвиг, предпринятая неким его сокурсником, юношей, к слову, весьма экзальтированным и куда более, нежели наш белокурый богатырь, подходившим под означенный диагноз, окончилась, как и абсолютное большинство подобных затей, службой в Забайкалье в строительном батальоне.

Горечь разочарования усиливало еще и то, что не пытайся он равняться с Карцевым, рисовать бы ему агитки где-нибудь в Новосибирске, при штабе округа.

— У нас, сумасшедших, все по-другому... — заметил тогда Карцев.

Впрочем, до выпуска оставалось полгода, и Карцеву еще предстояло сделать дипломную работу. На скульптуре он защищался один со всего курса, и на его долю выпала участь весьма ответственная. Вуз носил гордое имя классика пролетарской литературы, и Карцеву предстояло, предварительно утвердив проект, отлить бюст оного в гипсе, для последующего торжественного установления его в фойе главного корпуса.

В руководители ему назначили известного в городе, немолодого уже скульптора, едва ли не круглый год занятого изготовлением памятников вождям и героям всех, начиная с районных, уровней. Памятники эти, как правило, предназначались для привокзальных площадей райцентров, центральных усадеб крупных колхозов, краеведческих музеев и прочих объектов народного хозяйства и культуры. Скульптор этот, зная Карцева еще по спецпрактикуму в своей мастерской, вполне доверял ему как профессионалу. Он предоставил ему свою мастерскую на два месяца, почти до конца мая и ни разу не потревожил талантливую ученика своим присутствием.

Карцев ликовал! Свобода и творческий процесс захватили его целиком. Пятьдесят четыре пенсионных рубля он пропил с товарищами в первую же неделю и далее расширял границы своего вечно мятущегося сознания с помощью бесплатно предоставляемых ему государством психотропных средств, которыми он по специальным рецептам отоваривался в восьмой аптеке.

Он ваял, бесстрашно пробуя все новые и новые подходы к изображению, давно уже ставшему классическим. Разумеется, эскиз на бумаге и его глиняный вариант давно были утверждены на кафедре, но где Карцев и где эта законопослушная серость?

Некая проблема для него, а скорее для будущих зрителей его творения, состояла лишь в том, что он никогда не был прилежным студентом и из всех предметов

выделял лишь историю искусств, посещая, кажется, все без исключения лекции. Происходило это, разумеется, не из-за любви его к музейным сокровищам, а исключительно благодаря личности преподавателя, милейшего Леонида Петровича Елфимова.

Однако и здесь Карцев оставлял за собой право на свое, ну очень особенное восприятие. Из всего многообразия впечатлений он вынес, в числе прочих, не слишком далеко выпадающее из ряда ему подобных, подходящих к случаю, следующее.

Весьма чтимый им великий русский художник Валентин Серов, будучи, как известно, блистательным портретистом, любил также на досуге делать чрезвычайно живые наброски разных животных, с коими сравнивал позднее, в частных, разумеется, беседах, некоторые свои модели. Так, красавица графиня Орлова была у него гусыней, а доверенный Карцеву для очередного увековечивания писатель оказался у Серова ученым шимпанзе.

Впрочем, на работах самого Серова его дар анималиста никак не сказывался. В профессии он был человеком настолько щепетильным, что к последнему его заказчику, прождавшему лишних сорок минут после назначенного часа, явился малолетний сын художника, чтобы с порога, едва переведя дух, сказать:

— Извините, сегодня сеанса не будет. Папа умер...

Карцев же пожизненно пребывал в уверенности, что никому ничего не должен. И когда руководитель проекта, дня за три до защиты диплома, появился наконец в мастерской, он застал своего весьма широко трактующего свободу творчества подопечного созерцающим уже отлитое в гипсе готовое творение.

Угрюмый суматранский примат, вдвое больше натуральной величины, с пышными усами и опрокинутым в себя взглядом, пристально взирал на мир со скульптурного станка. При этом сходство с великим пролетарским писателем было потрясающим.

Скульптор впал в настоящий аффект. Он только что вернулся из Исылкуля, где на центральной площади было установлено его последнее пятиметровое творение, отлитое в бронзе, и столь резкий переход от сурового реализма к мощной экспрессии его подопечного пробудил в нем неуправляемую пещерную ярость.

С огромным зубилом для первичной обработки мраморных плит он гонялся за Карцевым по пустынной мастерской. Зрелище было сюрреалистическим. Росту скульптор был едва за полтора метра. Зубило в его длинных цепких руках напоминало скорее копые. Он преследовал жертву между стеллажами со слепками античных масок и гипсовыми героями, безжалостно опрокидывал на пол внушительных размеров женские бюсты, сбивал с полок обрубки бронзовых конечностей. Длинный, хорошо скоординированный Карцев ловко маневрировал между многочисленными творениями мастера, двигал, спасаясь от страшного орудия, станки и каменные плиты...

И, когда через четверть часа, опрокинув в мастерской все, что только можно, скульптор наконец прижал его к стене, силы покинули охотника.

Уткнувшись головой в живот гиганта, он всхлипывал от пережитого культурного шока. Длинная прядь, всегда тщательно зализанная с левого виска, упала, обнажив бледный череп. Плечи его сотрясались. Зубило, отбив Карцеву ноги, выпало из его рук.

— Зачем?! — всхлипывал скульптор. — Что я тебе сделал?

Карцев, тоже плача от сострадания и боли в ноге, орошал слезами лысину ваятеля.

— Зачем мне жить? — выкрикивал он, находясь с утра под сильным действием амитриптилина. — Я никто, я просто никто!..

Немного успокоившись, скульптор вернул зубило на место. Принял в количестве ста пятидесяти граммов всегда носимый им с собою в плоской фляжке лучший адаптаген всех времен и народов и, занюхав бархатным расковом, заявил: — Выруливай сам, как знаешь. А я до среды на больничном...

Был вечер субботного дня. Защита дипломных работ на худграфу должна была состояться в понедельник, в полдень.

Карцев подмел останки гипсового классика. Выкинул вместе с ними разбитые надежды на карьеру успешного советского скульптора, хотя бы изредка получающего так называемые соцзаказы, и замесил глину.

В понедельник он блестяще защитился. Великий пролетарский писатель вышел у него духовно-истощенным, с почти аскетичными щеками и ясно читаемой на гипсовом челе болью за все угнетенное человечество. Убери его знаменитые усы, и голову вполне можно было бы представить на плечах озаряющего путь собственным сердцем одного из его героев. Бюст этот и по сей день стоит на втором этаже сохранившего свое имя, теперь уже педуниверситета.

Карцев же, немного погуляв и заняв денег у всех своих питерских и прибалтийских друзей, чтобы часть финансового потока пустить затем на погашение долга друзьям омским, а часть, чтобы из Питера съездить за тем же в Каунас и вернуться обратно на берега Невы, осел, вконец запутавшись, на шее матери-пенсионерки, бывшей учительницы начальных классов. Кредиторам его до Сибири было не добраться. Накладные расходы сильно перекрывали не столь уж значительные его долги и он, потихоньку что-то рисуя, опускался все ниже в пучину своих интеллектуально-депрессивных экзерсисов...

И, когда к своим двадцати восьми годам он превратился во вполне асоциальную, то есть как нельзя лучше подходящую для Леры фигуру, тот (вот и говорите после этого, что случайность — это всего лишь проявление некоторой закономерности) позвонил Карцеву. В ту пору Лерыч уже больше полугода работал с архиепископом...

Владыка приехал уже ближе к четырем. До начала службы в кафедральном соборе, он тогда находился на Тарской, времени оставалось всего ничего.

Высокий, дородный, он стремительно пронес себя сквозь пустое пространство храма. Свита его из двух одинаковых молоденьких дьяков, настоятеля Никольской церкви и отца Бориса, хорошо уже знакомого Лерычу молодого монаха, не поспевала за ним и походила сверху на пену позади большого корабля.

Староста Филиппов, без разбору сыпав со стола остатки мелочи, кланяясь издали и крестясь, спешил за благословением. Последним в храм вошел водитель Владыки, Ваня, высокий сумрачный молодой человек с редкой кудрявой бородкой.

Карцев и Лерыч, слетев с лесов, стали в стороне. Владыка же, сделав широкий разворот, остановился у подножия лесов. Отсюда, снизу, кроме краев росписи, разглядеть решительно ничего было невозможно, мешал дощатый настил под потолком. Он еще походил вокруг, осторожно поднимая голову в белом, недавно полученном им архиепископском клобуке, потрогал зачем-то сколоченные из горбыля леса, обронил:

— Надо вблизи посмотреть...

Юные дьяки, переглянувшись, нерешительно потянулись к алтарю. Но тут Карцев, в три огромных своих шага опередив их, открыл боковую дверь и, обогнув купель, первым оказался у лестницы, прислоненной изнутри к алтарной стене.

Чтобы попасть на леса, надо было подняться на самый ее верх и, перебравшись через верхний край алтарной стены, переступить еще около метра пустоты.

Дьяки бодро вскарабкались вслед за Карцевым и, подобрав рясы, оказались на лесах. Но дальше дело застопорилось. Высота вообще воспринимается по-разному. То, что снизу казалось им близким и безопасным, на месте оказалось ветхим, прыгающим под ногами настилом, уложенным экономным плотником через одну доску.

Чтобы как-то передвигаться по нему, надо было шагать, как по шпалам, с той разницей, что в промежутках, с высоты в несколько десятков метров светил каменный пол. В глазах рябит, ноги дрожат и путаются в длинных одеждах, а о том, что на лесах бывают перила, церковный плотник, похоже, даже не догадывался.

И, сделав всего пару шагов, юные дьяки, как и положено рядом с изображениями святых, как по команде опустились на колени и, глаза в пол, больше уж на ноги не поднимались.

Карцев же чувствовал себя, по меньшей мере, как экскурсовод в зале древнерусского искусства.

Он раскрыл скованным страхом слушателям исторический контекст сюжета своей и Лерыча фресок. Он провел сравнительный анализ различий Новгородской и Псковской школ иконописи, кратко коснувшись освоения Сибири и появления первых переселенцев. Остановился на привезенных ими из разных мест России и Малороссии иконах, на смешении стилей, появлении Сибирской иконы...

Дьяки терпеливо слушали, намертво вцепившись в края ненадежного горбыля. Владыка о чем-то степенно беседовал внизу с настоятелем. Подтянувшаяся из подсобки бригада киевских художников с любопытством ожидала вердикта приемной комиссии.

Время шло. Слушатели, в силу непреодолимых обстоятельств, Карцеву попались терпеливые, и надо было что-то делать. По опыту Лерыч знал, что заткнуть фонтан красноречия разогнавшегося Карцева невозможно. Есть только один способ: попытаться деликатно перевести его внимание в нужное русло.

И он сказал:

— Саня! Через четверть часа Владыка уедет. Денег мы сегодня не получим... Это был сильный ход. Слово «деньги» возымело эффект выключенного крана.

— Все, ребята. Можете вниз спускаться.

Карцев еще булькнул несколько раз и замолчал.

Надо отдать дьякам должное. Спустившись кое-как с высоты, они хором, почти слово в слово повторили для Владыки ту часть речи Карцева, что относилась непосредственно к его и Лерыча работе.

Архиепископ Омский и Тобольский Максим с сомнением слушал их, а точнее, Карцева, отзывы, подходящие разве что для фресок самого Микеланджело.

— Хорошо, — наконец сказал он, еще раз глянул на потолок храма и кивнул старосте.

Филиппов, тряхнув кудлатой головой, тут же подскочил с листком договора. Владыка чуть заметно кивнул еще раз, и староста, в лице которого и был представлен заказчик, поставил размашистую подпись. Ниже расписался Лерыч.

Напряжение спало. Оживленные дьяки, чуть в стороне, заговорили, улыбаясь, с отцом Борисом. Время уже перевалило за половину пятого, Владыка и так уже сильно задержался. Раздав настоятелю и старосте кое-какие указания и благословив присутствующих, он, в настроении вполне благодушном, тронулся было к выходу, как вдруг путь ему заступил Карцев.

— Владыка, я хочу чуда!

Филиппов, крутившийся рядом, изменился в лице. Грудь его, украшенная двумя орденами, церковным и Отечественной войны второй степени, раздулась,

грозя лопнуть под фланелевой клетчатой рубашкой. Шрам под клочковатой бородой, рваные ноздри, даже брови сделались у него багровыми. Вида Филиппов всегда был самого разбойного. Нрав имел грубый, прямой, как штык у трехлинейки, но Лерыч с ним хорошо ладил.

Карцева же староста отчего-то невзлюбил с первого дня. И сейчас, после такой выходки, готов был стоптать его, как дерзкого таракана.

Владыка на мгновение замер.

Лерыч до работы над потолочной росписью писал для него картину к четырехсотлетию Омско-Тобольской епархии, где на холсте семьдесят на сто сантиметров кроме древнего Тобольского кремля и аллегорического белого вола («будь волом, влекущим тяжкий плуг, режущий сладкую борозду Божественного слова») был изображен и сам Владыка в праздничном облачении, благословляющий зрителя. Для портрета Лерычу пришлось сделать несколько набросков с натуры, и он имел возможность немного пообщаться с ним.

Архиепископ Омский и тогда еще Тобольский, Максим был прекрасно образован, очень начитан, обладал широчайшим кругозором и исключительно трезвым умом крупного руководителя. Родом он был из Белоруссии, до Омска служил в Аргентине, но для его возраста и здоровья Сибирь оказалась благоприятнее жаркого и влажного южноамериканского климата. Взглядов Владыка был весьма широких, но тут и он опешил.

— Александр, — строго спросил он, — ты христианин?

— Да, — отвечал Карцев, очень польщенный тем, что архиепископ помнит его имя. — Конечно. А как же? Но я хочу верить истинно, духом, чтобы успокоиться. А для этого мне очень нужно чудо.

— Не знаешь, за что просишь, — гулко сказал Владыка. — Впрочем, Господь направит.

И, наложив на голову Карцеву руку, он, даже слегка оттолкнув его, вышел из храма.

Карцев же, отчего-то придя в самое веселое расположение духа, вернулся на леса. Надо было собрать инструменты, кисти, ящик с красками.

— Клоун, — прохрипел, обретя наконец дар речи, староста. — Чистый клоун...

У него это звучало, как «клован».

— Иди, Валера, в бухгалтерию, деньги получай, — обратился он к Лерычу. — Галина Ивановна до полшестого...

Они о чем-то еще поговорили, пока Лерыч в каморке старосты, рядом с трапезной, складывал рабочую одежду, переодевался. Потом оба заглянули в опустевший храм. Апрельский день кончался. Солнце, проникая в узкие стрельчатые окна, лучами пронизывало церковный полумрак.

Высоко на лесах, один, по прыгающим доскам ходил Карцев. Он собирал кисти, сворачивал трафаретные пленки и, казалось, продолжал разговор с Владыкой. Слов было не разобрать, говорил он быстро, глотал слова, прося или будто доказывая что-то.

С высотой он всегда был на «ты», но тут он скакал, как матрос по вантам, не глядя под ноги. Напротив, перейдя на соседний настил, под роспись Лерыча, он то и дело поднимал голову и, оказавшись лицом к лицу с Германом Аляскинским или святителем Сильвестром, что-то горячо бормотал.

Филиппов сморщился.

— Точно клоун. И за что ему восемьсот рублей? Ты три месяца работал, а он там да сям подкрасил — и на тебе, как с куста...

— Все по договору, — сказал Лерыч. — За «Собор...» — тысяча двести, за «Бегство...» — восемьсот десять. Мы же с вами по расценкам полдня торговались.

— Помню, — сказал староста. — Помню, как ты упирался.

— Спасибо Владыке, — сказал Лерыч. — Он меня научил: проси, говорит, больше, все равно староста половину даст...

— А то, — сказал Филиппов, довольный. — Но восемьсот ему все равно не за что.

— Вы притчу о виноградаре читали?

— Читал. Я до войны техникум сельскохозяйственный окончил. Но Сашка все равно клоун. Чуда ему хочется! Да кто он, чтобы у Владыки чуда просить?! Вон, в цирк пусть идет за чудесами, самое ему там место...

Внезапно он замолчал. Поднял косматую голову. Наверху, на лесах, Карцев стоял у самого их края. В руках у него был этюдник с красками, на плече сумка с трафаретами и кистями. Повернувшись к алтарной стене, он медленно пошел вдоль края, глядя перед собой, что-то тихо бормоча. Деревянный настил под потолком не был сплошным, а состоял из двух частей, разделенных, как и обе росписи, расстоянием около метра. Вместо нормального мостика плотник просто перекинул широкую, сантиметров в сорок плаху, но переход этот располагался где-то посередине лесов, а Карцев шел по самому их краю.

Все произошло слишком быстро и как-то очень просто.

— Куда смотришь?!

— Саня, стой!!

Лерыч и староста крикнули одновременно, но Карцев уже шагнул в пустоту. Левая нога его еще зависла над пропастью, на миг, не более, потом провалилась неглубоко, как будто под нею провалился верхний слой снега, и вдруг оперлась обо что-то невидимое, упругое, прочное...

Словно ничего не заметив, Карцев перешагнул на соседний настил, перелез через алтарную стену и через пару минут вышел из алтаря.

— Охх-е, — выдохнул Филиппов.

Карцев с полузакрытыми глазами молча миновал их и вышел из храма.

— «И понесут меня ангелы на крыльях своих», — прошептал Филиппов и скрылся в своей каморке.

Вечером того же дня Лерыч приехал к Карцеву, привез завернутые в газету деньги, восемьсот десять рублей. Карцев был необычно тих, смотрел все вверх, о произошедшем отмалчивался. Они немного посидели, выпили без энтузиазма и попрощались.

Больше Лерыч его никогда не видел.

Через две недели, позвонив, узнал от его матери, что он уехал в Питер. А года через полтора, летом в автобусе, случайно столкнулся с одним их общим знакомым, Селивановым, когда-то тоже учившимся на худграфе. Селим давно жил в Москве, в Омск приехал навестить родных.

Они разговорились, вышли на Ленина, пошли по мосту мимо Серафимо-Алексеевской часовни, вверх по Партизанской.

Парило. Июльское небо душным войлочным колпаком осело на Любинский. Город истекал потом.

— Сибирь, Сибирь, тебя я не боюсь, — Селим с вождением оглядывался на мутную зелень Омки. — Ну и климат у вас. А в Питере дожди второй месяц.

— Ага, — вяло согласился Лерыч.

Они собирались где-нибудь выпить пива.

— Кстати, — неожиданно вспомнил Селим, — я в Питере Карцева встретил.

— Надо же! А здесь о нем ни слуху, ни духу.

— Карчик в порядке, — сказал Селим. — Уехал года полтора назад в Швецию, у него там вид на жительство или что-то вроде того. Получает там пособие. Как получит — сразу в Питер и живет там, как швед, до следующей выплаты.

— Это разумно, — согласился Лерыч.

— Еще бы! Прикинь, он в Питере открыл салон авторской шведской татуировки! Мы с ним на радостях посидели, он мне на память подарочек сделал. Хочешь глянуть? — И, повернувшись, он сбросил с плеч взмокшую от пота рубаху.

По обеим лопаткам его раскинулись ажурные, исполненные с дюреровской скрупулезностью, ангельские крылья, осеняющие колесо обозрения.

Селим чуть шевельнул блестящими на неожиданно выглянувшем солнце лопатками. Крылья грациозно взмахнули.

— Ну, как? — осторожно спросил он.

Колесо обозрения с осью прямо по позвоночнику было с двумя крошечными безо всякого ограждения кабинками, скорее, просто качелями в самом верху и внизу его. Поперек шла готическая вязь: «NEVER FROM ABOVE».

— Никогда сверху, — прочел Лерыч. — Ну, не педикюрный же ему салон открывать.

— Не понял. Крылышки-то мои понравились?

— Очень, — сказал Лерыч. И Селим с облегчением накинуд рубаху.

Они почти уже поравнялись с крытым павильончиком в сквере напротив старого здания пединститута.

— Нет, ну Карцев-то... — Селим передернул плечами, словно встряхивая подаренными крыльями. — Как взлетел, а?

— «И понесут меня ангелы на крыльях своих», — сказал Лерыч, входя в полутемную пивную.

— Он всегда высоко метил.

СВЕТ НА БАЛКОНЕ

*Время — это единственное место,
где хранятся наши чувства.
Иногда они там портятся...*

— И к мужу твоему вожделение твое, и будет он властвовать над тобой...

Голос у Карцева низкий, красивый. Такому бы голосу с амфона звучать...

Карцев полулежит голый, в позе рембрандтовской Данаи, поперек разложенного скрипучего дивана.

Огромная ладонь прикрывает сморщенный срам. Спиной Карцев подпирает траченный молю реликтовый восточный коврик.

Только вместо служанки его совершенную плоть теперь созерцает Тамара.

Добрая женщина тридцати семи лет, в кружевном лифчике из «Березки» и черном тугом подьюбнике, внимает ему со стула чуть сбоку.

Щуплый верх, тяжелые мучнистые бедра. Сдобными ладонями она горестно обнимает колени.

— Котик, это твое? Красиво... А у меня с Колей давно... только властвовать осталось.

Они здесь уже больше двух часов. И с каждой неудачей красноречие Карцева сильно прибавляет.

— Мужчина для женщины — как Творец для мужчины — начало дающее... Карцев делает паузу, вслушивается в собственный трубный голос.

— Он для нее всегда единственный. Через него женщина получает свет наслаждения своего, свет самой жизни... Он один наполняет ее сосуд, от него одного зависит она... Мужчина, Тамара, — корень ее...

— Корень, — сложив жирно накрашенные губы, Тамара тянется к его ладони.

— Из плоти его, — говорит Карцев, — создана она! В помощь ему. И принадлежать она должна ему одному!

— Одному, котик...

Красивые длинные ноги Карцева почти перегораживают крошечную угловую комнатку на седьмом этаже. Он слегка сжимает ладонь, разочарованно шевелит пальцами в паху, широко разводит левой, свободной рукой.

— Все мы — осколки общего сосуда! Все мы созданы для наполнения его светом. И лучшая наша благодарность Ему — быть счастливыми.

— Да, зайчик, — воркует Тамара, не в силах оторваться от мускулистых бедер Карцева, — из корня...

— А я?! Я не могу сделать счастливой даже тебя!

Тамара поджимает губы.

— Тебя надо ваять! — Карцев с отвращением смотрит на ее колени. — В камне. А я пуст. Совсем пуст. Я не могу нести свет женщине. Я ошибка, неудачный опыт, что-то перепуталось при нисхождении моей души в этот мир, осколки составились не так, неправильно! Зачем мне теперь этот рост, эти руки?! В человеке все должно быть гармоничным!

— Сашечкааа... — Тамара опускается перед ним на колени, кладет теплые ладошки на его бедра.

— Мой Коля говорит, что счастлив не тот, у кого много, а тот, кому достаточно...

Она уже склонилась над ним, коснулась его кожи мягкими губами...

Но Карцев вдруг дергается, гулко бьет головой в коврик, еще, еще раз, прямо в центр восточного орнамента и с жаром выкрикивает:

— Я в ловушке! В тупике! Ты загнала меня в угол! Я больше так не могу!!! Зачем мне жить?!

Он сильно краснеет. Весь, до багряного орнамента на коврике, всем своим большим белым телом.

Не отнимая ладони от паха, вскакивает с дивана, с силой отталкивает женщину и бросается вон из комнаты.

Подполковник Николай Васильевич Кривцов возвращался домой. Ехать на Левый берег на сером с мигалкой уазике с полчаса.

Водитель — срочник Сережа из Искитима. Крутится вокруг его старшей, Оксаны. Пусть крутится. Папа у него директор тамошнего кирпичного завода. Сам после техникума. Оксану с рук сейчас не сбить, она дров наломает.

Машина миновала забор с вышками и уходящей в небеса железной сеткой, вывернула на проспект Мира.

А у Томки кто-то есть. Точно есть. Но не пойман — не вор. Уезжал в Афганистан, сам ей сказал: узнаю — убью. Но так не узнал же. Значит, пусть живет. Пока...

Кривцов хохотнул, открыл форточку, закурил. Рослый, справный, с толстыми влажными губами, в последнее время он еще отяжелел. Готовит Тамара хорошо, не отнять.

После Афганистана, где Кривцов был советником в полку Царандоя, он пошел на повышение. Получил трехкомнатную на Левом берегу, следующую

звездочку и полсотни срочников из Новосибирска. Пополнение к нему приходило грамотнее, по большей части после техникумов. Были ребята и с высшим образованием.

В городе их обычно поднимали на усиление. Куда-нибудь в Порт-Артур или на Старую Московку.

Периодически Кривцов уезжал в длительные командировки. Фергана, Сумгаит, Баку... И всегда он привозил своих живыми. Может, Афганистан сказывался, где совместно с местной милицией сажал он на броню чумазных пацанят. А духи по своим детям не били...

А может, дело было в нехитрой кривцовской идеологии, которую он в первый же день в Баку внятно изложил своему новому заму.

— Знаешь, в чем разница между ними и нами? Они у себя дома. А нам домой еще вернуться надо...

Но у Томки по-любому кто-то есть.

Начинал Кривцов в конвойной роте, под Кемеровом. Жили в заснеженном по трубы лагерном поселке. За те годы, говорил он жене, тебя надо крестом наградить. Деревянным.

— Коленька, — хихикала Тамара, — деревянные только на могилку ставят.

Легкая, в руках все горит. Рядом с ней всегда было тепло. Но дура...

— Тебе видней, — отвечал он. — Это за тобой поп ухлестывал.

— Не поп, а батюшка, — обижалась Тамара. — Он жениться хотел! К папе с мамой моим приходил. Его тогда в приход наш прислали. Молодой, а матушки нет. Нехорошо это у них.

— У нас это тоже нехорошо, — говорил тогда Кривцов, катая Тамару по кровати.

«Свинья, — терпела она. — Душ, когда пьяный, перед сном не принимает. В ванной сморкается. Зачем я за него вышла?!»

Как-то, перед Восьмым марта, в обувном, где она работала, поделилась она с девками наболевшим. Кривцов тогда еще из Баграма открытки слал.

Девки, ага, девки, всем за сорок, разведенки, все без мужиков. Как они тогда оживились! Какой он да какой?! А Коля как раз очередную посылку передал: телевизор «Шарп», два магнитофона, тряпок импортных тюк.

Волгу из новосибирской «Березки» в прошлый отпуск пригнал. Гараж рядом с домом. Дачу построить собирался, как вернется, землю под Лукьяновкой уже выделили.

Ну, Тамара, голубиная душа, замуж в восемнадцать лет выскочила, девушкой, и брякнула, как оно есть на самом деле. Спичечным коробком по столу.

— Два, — говорит, — два коробка в длину. А так — как в бочке затычка.

Девки и давай ржать. Да зачем он тебе такой? Что за мужик, мол, одни погоны...

Тома уже и пожалела об откровенности. Но разговоры скоро стихли, а она призадумалась. Пока не знала, вроде и ладно все было. А теперь все не так...

И она завела Володю. Ему двадцать семь, молодой. Жил неподалеку, в Солнечном, с матерью.

Ласковый такой... Да и Тамара на него не скупилась. Часы, зонтики, рубашечки-батники. Коля слал барахло, не считая...

Но месяца за два до его возвращения, она призналась, кто ее муж. Володя исчез сам, ничего и объяснять не пришлось.

Теперь уж и Оксана на выданье, младшая подрастает...

«Невезучая я баба», — жалела себя Тамара, нарочно выбирая в отделах женского белья жуткие трикотажные панталоны. На Кривцова они действовали не хуже брома...

УАЗ свернул на мост. По Лукашевича и направо, на Волгоградскую. Минут пятнадцать и дома. Хозяйка она хорошая...

Часу в шестом в дверь квартиры, она же мастерская, скандално громко постучали.

Звонок, конечно, имелся, еще со времен сдачи дома. Старый и вполне дееспособный. Но, чтобы им воспользоваться, требовалась сила или хотя бы некоторая сноровка.

— Кого, б..., несет?! — стараясь не слишком раздражаться, чтобы не сбивать настрой, с раскрытой опасной бритвой в руке Валера пошел открывать.

Его оторвали от работы. На мольберте остался холст с недописанным лесным пейзажем.

Он только что соскоблил бритвой отражение в вечерней воде, протер это место луком и загустевшим льняным маслом и собирался еще раз переписать его.

В маленьком пруду, скорее, омуте, перед закатом, черно-зеленая вода выглядела глубокой, уходящей к центру Земли.

На низком крутом берегу две растущие из одного корня молодые сосны срослись, как в соитии.

Красный луч в их створе в отражении казался бьющим снизу, чуть не от раскаленного земного ядра.

Еще немного и кипящая лава пробьет толстое закопченное стекло, вырвется на поверхность, зальет все окрест клубящимся быстрым огнем.

Березы на заднем плане сгрудились голые, тихие...

И берег, и вода были написаны круговыми, сходящимися к воде мазками. Ему хотелось, чтобы был слышен этот отдаленный глухой рокот...

На пороге стояла Оксана. Старшая дочь Тамары. Крупная, красивая, хорошо выкормленная, с безобразно-хамской повадкой.

— Где моя мама?! — завопила она с ходу.

— Привет, — сказал Валера, не убирая бритву.

С год назад Тамара заказала ему ну очень парадный, «дорого-богато», портрет Оксаны к школьному выпускному.

Он сделал пару набросков с натуры. Взял несколько хороших цветных фотографий.

Позировать Оксана приходила с матерью. Тамара приносила мерзкий сладкий ликер и сникерсы.

Оксана грубо кокетничала, несла, не смолкая, всякую дичь. Тамара жеманно хихикала.

На втором сеансе она познакомилась с Карцевым.

Карцев сидел тогда у Валеры в гостях, в сизой облезлой кофте, линялых джинсах, с гривой белокурых волос. Пил пиво и со знанием дела рассуждал о французском портрете восемнадцатого века.

Наттье, Шарден, Кантен де Латур, Фрагонар...

Тамара была очарована им сразу. И сразу же напросилась к нему работы смотреть.

С посылком позже что-нибудь у него заказать. Не помогли и бессильные перед ее энтузиазмом попытки Карцева сослаться на творческий кризис.

Ценительница изящных искусств ухватилась за него реально.

Ближе к концу работы Валера переписал на портрете руки. Сделал кисти полегче.

Кость у Оксаны была широкая, отцовская. Руки никак не монтировались с воздушным, нежно-салатовым платьем в рюшах и кружевах.

Кривцов, забирая работу, выложил из кителя заранее оговоренные двести «березовых» чеков.

Раму потом сделали умельцы в батальоне, массивную, резную.

Так они с Валерой и познакомились.

Обмывали портрет двумя днями позже, у Кривцовых. Напились до бесчувствия. Не помогла и обильная Тamarочкина закуска.

Ей тогда делали зубы в больнице УВД. Мужчина-стоматолог, наверное, шутки ради, уверил ее, что спиливает ей зубы потому, что они начинают расти под коронками.

И Тамара, чуть не до слез, отстаивала авторитет ведомственной медицины перед усомнившимися в таком невероятном факте мужем и Валерой.

К вечеру, включив магнитофон, она взялась демонстрировать свои бесчисленные наряды.

Кривцов сморщился на левую сторону:

— В Сумгаите по всей улице чемоданы потрошенные валялись. Барахло из окон выбрасывали...

— А чего не взял? — весело, не прерывая дефиле, спросила Тамара.

Кривцов замахнул очередную стопку, сказал глухо, в стол:

— Там хозяева в квартирах остались...

В тот вечер домой условно-вменяемого Валеру доставила вызванная Кривцовым машина с решетками и мигалкой.

— Как он тебе? — осторожно спросила Тамара, убирая со стола.

Прощаясь, их младшая, двенадцатилетняя дочь Катя по-взрослому влажно поцеловала никакого уже Валеру в губы.

Хорошо, Кривцов ничего не заметил.

— Пить с ним можно, — определил он тогда.

Позже семейство не раз звало Валеру с собой в СКК «Иртыш» на ненужные ему, но вроде как престижные для областного города гастроли столичных знаменитостей. На нулевой ряд, у самой сцены.

Кривцовские бойцы обеспечивали подобного рода действия, и он брал у замдиректора билеты.

— Где мама?! — Оксана выглядела грозно. Красный Адидас из «Березки», туго набитый корпулентной фигурой, готов был лопнуть, обрушиться на Валеру. — Папа к семи вернется! Вы знаете, что будет?!

Она все пыталась заглянуть за его плечо, словно надеясь обнаружить в квартире загулявшую мать.

От крапачного костюма и тяжелого полыхающего макияжа коридор быстро нагревался.

— Зайдешь, проверишь? — Валера сложил бритву, убрал ее в карман. — Нет ее у меня. И не было сегодня.

— Но она же с вами утром поехала! Что я папе скажу?!

— Оксана, давай так. Я сейчас сяду на телефон. Наверное, она по магазинам в центре пошла. Или в пробке стоит на Ленинградском мосту. Иди домой и готовься к обороне. Желательно, глубоко эшелонированной. Вдруг пробка большая? Я как что узнаю, сразу отзвонюсь. Ступай с Богом, хуже будет, если отец придет, а дома одна Катя.

— Вы моего папу не знаете, — с угрозой сказала Оксана, и Валера выпихнул ее из квартиры.

— Придешь домой, мама уже там!

Он захлопнул дверь. Повернул на два оборота ключ.

— Или еще нет...

Подумав, он закрыл дверь еще и на задвижку.

Карцев взял трубку на втором десятке гудков.

— Саша! Ты куда, на... Томку дел?! Вечером ее муж не застанет, готовь, на... четыре доски!

Карцев обиженно загудел.

— Мир вокруг нас совершенен. И если ты называешь кого-то разными скверными именами, не обвиняешь ли ты тем самым того, кто его создал? Зло приходит в наш мир только затем, чтобы мы осознали его в себе, а все, что происходит с нами, происходит только внутри нас. Мы должны честно признать: мы оступились, и мы оба по уши в дерьме!

— Саша! Сейчас полседьмого!! Ее муж перестреляет нас еще сегодня!

— Валера, следует с достоинством принимать неизбежное. Нет ничего в мире, что не было сотворено от начала его. Нам следует лишь дожждаться этого... А наказание — оно всего лишь подсказка доброго Отца нерадивым сыновьям его. Все мы идем путем бесконечных страданий, если всякий миг нашей жизни не стремимся быть впереди них, думая о том, как нам угодить Ему.

Только тогда наш путь делается легок и приятен. А мы, как малые дети, без понуждения с нами никак... Сказано — кто убрал розги, тот ненавидит сына.

— Тамара где?!! — стряхнув липкие карцевские тенета, зарычал в трубку Валера. — Ты куда тетку дел, псих?!

— Томы больше нет, — отвечал Карцев смиренно. — Тома умерла.

— Что?..

— Тома умерла... Ушла, покинула нас и этот самый темный, низший из всех сотворенных миров, мир, куда проникает лишь тонкий луч живительного света.

Мир, созданный только для того, чтобы мы осознали, в какой тьме, на каком дне мы стоим, чтобы, оттолкнувшись от него, мы скорее бы начали подниматься...

— Александр, — прервал его Валера устало, — вы мне пару раз излагали свои взгляды на устройство Мироздания. Чуть позже я с радостью вернусь к нашим философским диспутам. Тома, на... где?!!

— В чемодане, — отвечал Карцев, помолчав, уже своим обычным, скучным голосом. — В большом дерматиновом мамином чемодане.

— В чемодане...

— И в моей спортивной сумке. Помнишь мою сумку? Я с ней еще на тренировки к вам ходил. Большая синяя сумка, КС, «Крылья Советов». Сейчас-то почти стерлось все, но сумка хорошая, крепкая. Она мне от старшего брата досталась, он боксом в «Спартаке» занимался. Ремень у сумки, правда, дрянь, но ручки держат. Так я ее для верности еще обвязал. Тесьмой брезентовой. Никуда теперь не денется.

— Кого ты тесьмой обвязал?

— Сумку, «Крылья Советов». С Тamarой. Ну, то есть с тем, что в мамин чемодан не вошло.

— А-а... То-то я думаю, зачем тебе еще сумка старшего брата? «Крылья Советов»... Как это случилось, а?

— Случайно, — уже охотней отозвался Карцев. — Я ее оттолкнул, шутя. А она затылком о батарею.

Ты видел у меня в комнате красную чугунную батарею? Я ее нарочно кадмием красным покрасил еще прошлым летом. Так она кажется горячее, когда топят плохо. И ведь так удачно сложилось, как знал! Крови на ней не видно совсем, мама и не заметит. А на полу я все замыл, не беспокойся!

— Удачно, — помолчав, одобрил Валера. — Главное, чтобы мама ничего не заметила...

— Валера, — проникновенно сказал Карцев, — мне теперь нужна твоя помощь.

— Можешь на меня рассчитывать. Я тебе передачи в больничку носить буду. Курицу вареную.

— Я неприхотлив, — скорбно сказал Карцев. — Для меня кусок хлеба и стакан чистой воды достаточны. Надо сокращать свои желания, и тогда в душе постепенно освобождается место для наполнения ее тонким, по-иному не достигающим нашего мира светом.

— Саша, зачем?! Ну на хрена ты ее по чемоданам разложил?! С твоим диагнозом тебя дальше дурки не заперли бы. И то на время. Сдался бы врачам. А теперь ты доктор Лектор с улицы Маяковского!

— Из страха, Валера. Только из страха... А страх — он основа всякой мудрости.

— Я не ослышался? Мудрости?!

— Все в жизни любовь, Валера. И только одной любовью мы ее мерим. Это как темнота, которой и нет вовсе, а есть только плохое освещение.

— Переходите уже к чемодану, Александр! И к сумке, на!!..

— Я и говорю. Есть страх наказания. Здесь или там, потом. Есть страх не получить вознаграждение. Но это все ловушки! Я теперь говорю совсем о другом страхе. Когда имеешь любовь совершенную, нужно испытывать страх лишиться даже малой ее толики.

Как если бы ты имел от рождения в своей полной, нераздельной личной собственности Джоконду, скажем, Леонардовскую. И вдруг царапина на ней! Даже незаметная совсем. Это же как бритвой по сердцу! А любовь куда больше. В этом-то страхе вся мудрость.

— Ну?..

— Грубый ты, Валера. Я попал в ловушку! В петлю совсем другого страха, страха наказания. Этот дурной страх уловляет нашу душу, закрывает от нее любовь совершенную.

— Саша, даже если ты съешь останки несчастной Тамары, тебя ожидает только квалифицированная медицинская помощь. А я сяду.

— Лучше сесть, чем быть застреленным безумным подполковником.

— Это ты говоришь о безумцах?

— Валера, я могу провести лучшие годы с маньяками и убийцами!

— Вы поладите, поверь мне. Будешь заведению санбюллетени рисовать. Я тебе гуашь подгоню, как обустроишься, ватман. А курицу можно и гриль.

— Валера! — воззвал Карцев. — Тебе бы только пожрать. Границы нашего языка — суть границы нашего мира. То, что ты сейчас говоришь обо мне, это не мое! Мое — это то, что я говорю тебе. Ты должен мне помочь! Тамара женщина мелкая, но тяжелая. Мне одному за раз не вынести, что соседи подумают?

— Вдвоем, оно, конечно, не так подозрительно.

— А я о чем?! Ты приезжай ввечеру, как стемнеет. Главное, до прихода мамы успеть... Валера...

— Что?

— Это ведь ты ее ко мне привез!

— Я помню.

— Да, еще...

— Что, есть кто-то еще?

— У тебя нет сердца. Тамара в ванне одна, не волнуйся. У меня еще просьба. Ты возьми по дороге водки.

— Сколько?

— Ты мою позицию знаешь. Могу и хочу я всегда много, но это во мне говорит мой эгоизм. А я его постоянно сокращаю.

— Значит, чекушку?

— Каждому. Чтоб после, с устатку.

— Кончил дело — гуляй смело? Ты, душегубец, сиди, на... тихо! Трубку не бери. Сам никому не звони. Стемнеет — я у тебя.

И он положил трубку.

— А там посмотрим...

Никаких конструктивных идей по поводу «остаться в живых» у него не было. Мысли слиплись, как монпансье в жестяной банке.

Он сел перед мольбертом. Уставился в тяжелое сырое небо на холсте...

Такое небо было над Пушкинским кладбищем в прошлом октябре. Умерла его очень дальняя и очень престарелая родственница. Строго говоря, и не родственница вовсе, так...

Но хоронить бабу, кроме него, было решительно некому. И Кривцов его тогда выручил...

Дежурный ждал к восьми на КП. Провел мимо плаца и спортплощадки на третий этаж беленого кирпичного здания.

Кривцов сидел за столом с тремя телефонами в узком, как у завуча, кабинете. Кивнул, поднял внутренний.

— Зайди.

Через минуту в кабинет вошел старший прапорщик, усатый, с шальными глазами. Молча протянул горячую чугунную ладонь.

— От небритости и нечищенных сапог — один шаг до предательства, — пошутил Кривцов, но прапорщик машинально провел по высокобленному подбородку.

— У нас тут не милиция, — Кривцов с одобрением глянул на его сияющие сапоги. — Возьми восемь человек, шестьдесят шестой тентованный. Досок брось. Положите, если могила сырая будет.

Он что-то черкнул в раскрытом журнале.

— Сделайте все по-человечески...

Прапорщик вышел, а Кривцов попросил:

— Ты ребят покорми, к обеду не успеют. Но водки не наливай. Им домой скоро...

Когда все было кончено и вспотевшие солдаты у поминального столика принялись за бутерброды, Валера с прапорщиком отошли к тополи. Разлили, выпили сначала за помин души новопреставленной. Прапорщик мощно зажевал. Валере кусок в горло не шел со вчерашнего дня.

— Попал ты, — он кивнул на облепленные грязью сапоги усатого. Достал подаренную как-то Кривцовым выкидуху, образчик работы лагерных умельцев, рассек яблоко. Протянул, разлил по второй. Прапорщик выпил, грызнул яблоко.

— Помнишь меня?

— Нет.

— Да ладно тебе. Ты же капитан. Сам говоришь — попал! А зачем твои снайпера по нам били? Я с «Мухи» и шмальнул. Один раз. По чердаку.

Он снял фуражку, пригладил жесткие волосы, сунулся ближе.

— Узнал?

Прапорщик смотрел почти с любовью.

— Удачно ты...

— А то ж! Все живы. Помнишь, как вы к нам в гости ходили?

Валера разлил водку.

— Теперь начинаю.

— А Абу помнишь?

— Как же. Абу...

— Ребята потом рассказывали. Засланный был казачок. Его потом, — усатый провел себе по горлу. — Ты один раз был, а у меня шесть командировок. Давай еще и поехали! Мне к четверем доложить надо. Тебя домой или с нами? Я тебя потом, если что, на своей доведу.

Он достал жестяную коробочку, бросил в рот таблетку.

— Антошку будешь?

— Не, я так... — Валера с сомнением посмотрел на глотающего «антиполицай» прапорщика. — Давай домой.

На обратном пути его, голодного, сильно растащило. Но вылез он из кузова сам, аккуратно. Подошел к кабине, сунул прапорщику две бутылки водки.

Тот вылез, сцепился с Валерой ладонями, долго стоял рядом.

— Давай, брат.

— Давай.

— А я тебя часто вижу. Мы ж соседи.

— Все мы здесь соседи, — сказал Валера, держась за него. — Береги себя.

— Чего беречь? Двух ребер нет и контузия, — и прапорщик загрузился в кабину. — Это моя земля!

Валера согласно кивнул.

Прапорщик захлопнул дверь, высунулся.

— Наша земля!

Дома Валера вполз под душ и даже напек блинов. Вечером заехали Кривцов с Тамарой, помянули старушку.

Прощаясь, Валера вынес к уазу оставшиеся пятнадцать бутылок водки. В те времена водкой в таком количестве можно было затариться только по справке о свадьбе или похоронах.

Водка, как оказалось, пришлась Кривцову очень кстати. Со вторника у него начинала работать комиссия из Новосибирска.

Мысли все никак не хотели отходить далеко от кладбища. А если Карцев врет? С него ведь и не такое станется. Но чтобы Тамара по доброй воле не явилась домой к приходу мужа?..

Опять же, толкни ее Карцев своей ручищей несостоявшегося дискобола, она и без батареи ласты склеить могла.

Его теперь просто корежило. Тело горело так, будто температура зашкаливала. Стыднокасукастыдно...

Почему-то даже перед усатым прапорщиком...

Он достал с антресолей рюкзак. Сложил в него пленку. Чертов псих. Надо ехать, на месте разбираться.

И тут зазвонил телефон.

— Я же сказал, на... не звонить мне!!!

— Дядя Валера, — кротко начала Оксана, — мамы нет.

— А-а, это ты. Да все нормально. Мама поехала в Торговый центр. Папе твоему подарок выбрать.

— Подарок? — зло повторила Оксана. — Это в честь чего это?!

— Бритву, — уточнил Валера. — Туда бритвы хорошие завезли. Город Бердск, Новосибирской области, с тремя плавающими ножами.

— Я вас поняла, — сказала Оксана. — С тремя ножами. А ничего, что у папы их три?! Золлингеновская опасная, японская электрическая и еще какая-то, в коробке запечатанная.

И она грохнула трубку.

А он вернулся к мольберту.

Черно-зеленое закопченное стекло омота низко гудело. Кипящая лава неудержимо рвалась из преисподней.

— Кто людям помогает, теряет время зря...

Он даванул на палитру волконскоит. Пока светло, можно еще поработать. Слой лессировки на воде не повредит.

Забывшись, он уже начал было писать, как снова зазвонил телефон.

— Котик...

— Кто это?!

— Это Тома... Котик, у нас такое горе...

Валера помолчал. Чтобы не материться в трубку.

— Оно у нас с тобой общее, Тома.

— Валера, Саша умер!!!

— Да что ты? А сама ты где?

— Я уже дома. Раньше идти боялась... Валера, Саша умер!!!

— Я слышу. В таком случае, он сейчас где-то рядом с тобой.

— Валера! — Тамара уже рыдала. — Я детьми клянусь! Саша с балкона выбросился!

— Вот дурак, — Тамара разлила по выставленным Карцевым стаканчикам принесенного ею ликера. Отпив немного, вышла из комнаты.

В миниатюрной спальне матушки Карцева, учительницы начальных классов с полувековым стажем, умещались идеально застеленная стеганым бежевым покрывалом кровать и узкий шкаф. Сейчас она была на даче, где-то по Сыропятскому тракту. Дома ее ждали не раньше восьми вечера.

Карцева в спальне не было.

Тамара еще отхлебнула обжигающего сиропа, заглянула в шкаф, зачем-то под кровать и за дверь.

— Котик, — позвала неуверенно. — Ты где?

Тут она заметила тихое шевеление на стене.

Плотная желто-зеленая занавеска во всю стену. Откинув ее, Тамара обнаружила приоткрытую балконную дверь.

Осторожно высунулась на пустой неостекленный балкон... Ставши на четвереньки, живо проползла к перилам. Заглянула вниз.

Тополиные кроны вплотную подступали к дому, мешали разглядеть исковерканное голое тело внизу.

Тамара громко икнула. Ей показалось, звук этот был слышен соседям до первого этажа.

— Котик...

Не поднимаясь с колен, она сдала назад, в комнату. Допила залпом стакан, потом второй, налитый для Карцева.

Виновата ли я?

Виновата ли я?

Бормоча, в горячке натянула юбку, ссыпала со стола принесенные конфеты. Несчастливая я баба. От мужа всю жизнь толку не добьешься. И этот... Что я говорю, прости, Господи?!

Он там, внизу... А может, живой еще? Люди добрые скорую вызовут, соседи там... Убьет меня теперь Коля, все равно теперь узнает и убьет! И Валерку убьет...

Она убрала в сумочку бутылку и оба стакана. Окинула прыгающим взглядом комнату. Наскоро одернула покрывало на диване и, поправив в прихожей волосы, выскользнула из квартиры.

Он вернулся к мольберту, отер кисти. Прописать, разделить стволы у березок. Они шумят, порываются сняться с места.

Но казнь пока откладывается, да и не дано им знать, что их ожидает, незачем им так жаться друг к другу.

Пригасить, загнать лессировками пламя поглубже. Еще не факт, что лава вырвется на поверхность.

Пусть сросшиеся сосны целуются на берегу. И край неба на западе очистить, чтобы больше кобальта проглядывало...

Он смешал краски, растер их на палитре и, вдыхая запах масла и разбавителя, с вожделием прикоснулся к холсту. Холст он любил тянущий, крупнозернистый, на таком воздух чувствуется лучше, свет вибрирует, тени глубже, прозрачней. Или ему так кажется...

Но режущий звонок снова выдернул его из вечернего леса.

Звонил Карцев.

— Ты еще дома?!

— А где мне по-твоему быть?

— На верном пути. С добрыми намерениями и двумя бутылками водки.

— Это ты, болезный, теперь проставляться должен! Отмечая свое чудесное спасение. Ты что, до земли так и не долетел?

Карцев немного помолчал.

— У меня не было другого выхода...

— Ага. Только как с балкона. Голому. Я и спрашиваю терпеливо: ты что, на клумбу е...ся? Или выжившая Тамара плохо искала, а ты в кладовке гасился?

— Не. Я с балкона. На шестой, к бабушке снизу. С моим ростом чего? На своих повис, на ейные перила встал.

— Голый?

— Нет, смокинг надел! Убьюсь, думаю, — мертвые сраму не имут. А спасен буду — так бабка внизу слабовидящая.

— Рада, небось, была? Унучек, давай, мол, чайку по-соседски втащим с малиновым вареньцем. Карлсон ты наш.

— Бабуля ко мне вполне толерантна. Ей один хрен, что голый, что в перьях, ничего не видит. Она с матушкой моей общается. Только у нее племянница в гостях была...

— Тоже слепенькая?

— Да откуда ж мне знать?! При мне очков не надевала.

— Это, душа моя, исключительно для того, чтобы не ослепнуть от сияния ваших белоснежных ягодич.

— Черствый ты, Валера, темный. Мир вокруг поглощает тебя.

— А я за шо?! Вся надежда на тебя. Сегодня ты светил своей ж...ой двум обделенным мужским вниманием женщинам и слепой старушке. А завтра, если ты приедешь ко мне поутру со своей — я подчеркиваю — водкой, я готов обсудить с тобой вопросы дальнейшего освещения нашего темного мира. Чувствуешь, как я от тебя опылился? А сейчас, можно я пойду дальше красить?

— Подлый народ, — скорбно выдохнул Карцев и положил трубку.

*Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей...*

Сильное стихотворение. Валера раскрыл бритву и с каким-то сладострастием принялся соскабливать край неба. Может, самое сильное о войне... Особенно хорошо сказал поэт-фронтовик о дымящейся крови товарища.

Работу он «увидел», когда еще только натягивал холст, смачивал его водой, с нежностью вколачивал гвоздики. Сначала по центру каждой стороны, крестом, потом к краям...

Но едва он ее увидел, больше почувствовал, осознал, как она тут же ушла назад, сделалась для него прошлым.

Оглядываясь на нее, чтобы не терять из виду собственный замысел, он принужден был в работе всякий раз пятиться спиной вперед. Всматриваясь же в то, что пока еще оставалось будущим, он видел одну только пустоту, которой еще только предстояло стать формой.

И происходило это всегда в тот самый момент, когда она тоже становилась прошлым! И он снова брел вслепую, а будущее всегда оставалось у него за спиной...

Снова зазвонил телефон. Надо было давно отрезать этот гребаный шнур, выдернуть его с мясом и даже совсем отказаться от телефона.

— Котик, я такая счастливая!

— Поздравляю. Че те надо?!

— Я думала, Коля меня убьет, в форточку выбросит, он обещал!

— Побойся Бога, Тома! Тебя в форточку... Если только частями! Теперь я понимаю Карцева...

— Котик, он тебе привет передает.

— Кто, Карцев?!

— Кривцов!

— А сам он где?

— В ванной.

— В чемодане?

— Нет, он моется.

— Да ты что?! Встал-таки на путь исправления? Если снова не свернет на кривую дорожку, он ведь и сморкаться перестанет. У тебя все? А то, ты не поверишь, мне работать надо!

Тамара, очевидно допившая уже свой зеленый ликер, неожиданно запела со звонкими фольклорными интонациями:

*В городском саду цветет акация,
Самая счастливая здесь я,*

*У меня сегодня менструация,
Значит, не беременная я...*

— Тома, — прервал ее Валера твердо. — Слушай сюда внимательно! Я тебе сейчас кое-что скажу. А ты потом думай обо мне, что хочешь.

И, набравши полную грудь воздуха, он гаркнул изо всех сил:

— У взрослых зубы не растут!!!

